

XI

Умер Вовочка — и что-то оборвалось в нашей общей жизни. На этом маленьком человеке, как на тоненькой ниточке, держалось в старом доме все внешнее благополучие во взаимоотношениях его обитателей. Оборвалась ниточка, и все сразу рассыпалось. Старый дом лицом к лицу очутился с новой, чуждой и враждебной ему женщиной... Вовочка унес с собою все, что еще примиряло старый дом с Калерией. Раньше была мать. Скверная, но мать. Теперь она — только женщина, оскорбляющая установленные здесь привычки и традиции. Все тетки зашипели, как змеи, и начали жалить.

— Малабарская вдова!..

— Замужняя невеста...

— Г-жа «Милости просим!».

— Почему она не разведется с законным мужем? Опять бы девицей стала...

— Не желает на себя вину принимать... Сама сблудила, а желает эту пакость на спину мужа взвалить...

— Вовочка-то у ней не от мужа...

— Приблудный!

Такие разговоры велись вполголоса в моем присутствии за семейным столом, когда не было Калерии. Шептались, посмеивались и моментально смолкали, когда появлялась Калерия.

— Тише! Идет г-жа «Милости просим».

«Ехидны!» — думал я о тетках и, назло им, проявлял к Калерии подчеркнутую внимательность.

Мама заражалась тем же настроением. Она хмурилась на Калерию и подозрительно поглядывала в мою сторону. Что-то подозревала она и говорила, как Пифия:

— Тебе надо, Геня, сбрить усы.

— Почему?

— Рано еще... Усы в свое время...

— И на своем месте! — добавила тетка помоложе, а тетка постарше зло ухмылялась и, поднимая глаза к небу, шептала:

— Бог шельму метит.

— Не понимаю, тетушка!

— Подумай — поймешь!.. У нас усы не вырастут. Господь не допустит.

Я вскакивал из-за стола.

— А уши уже выросли!..

— Как же это понять?

— А про какую шельму вы, тетушка, говорите? Как это понять?

— Не понял?

— Отлично понял... и прошу, при мне по крайней мере, не издеваться над Калерией. Одни — сколько душе угодно, а при мне прошу...

— Скажите, какой присяжный поверенный!

Смотри, брат, что-то ты очень...

— Не ваше дело!

— Не забывай, что не мы, а она у нас живет...

...Зачем она остается в этом доме, где к ней так враждебны? Почему она не порвет с этими

ненавидящими ее людьми?.. Неужели она не замечает и не чувствует всей унизительности такого положения в доме? Странно: как будто бы неглупая женщина, а вот поди!

А унижения становились все более резкими и частыми. Я страдал за Калерию... Вернее, не за Калерию, а за человека вообще... Странно и обидно. Что, однако, удерживает ее в этом дгнивающем доме? У нее, по словам мамы, есть хорошие средства, есть полная воля и никаких забот и обязанностей. Как птица: вспорхнула и полетела, куда захотела, за леса, за море, за синие горы туманных далей... Эх, Калерия!..

— Тебе письмо.

От кого? Незнакомая рука... А-а, от отца Зои! В чем дело?

«Сим уведомляю вас, милостивый государь, что документ, в котором...»

— Что за чепуха! Какой документ?

«...в котором вы делаете гнусное предложение моей дочери — бежать из родительского дома и вступить в незаконное сожитие с вами, милостивый государь...»

— Фу, какая гадость!..

«...представлен мною г. начальнику губернии, а засвидетельствованная нотариальным порядком копия с него — Его Преосвященству архиепископу Симбирскому. При сем имею честь присовокупить, что если вы...»

Я сидел за письменным столом и хохотал. Однако решительный человек. Что ему ответить? Должно быть, у него скопилось много документов, в которых я, в теплые звездные ночи, когда тоска по любимой девушке разгоралась особенно ярко, изливал перед ней в стихах и прозе восторги своих чувств. «Документы!» Красиво сказано. Взял в руки Зоин портрет. Тускло и печально смотрел он на меня из рамы, обвитой увядшими васильками. Скоро вянут васильки! Вынул из ящика Зоины письма. Вот они, розовые и голубые «документы»! Все начинаются одинаково:

«Милый, родной мой...» И кончаются благословениями. Даже г. начальник губернии и преосвященный не могли бы найти в них ничего предосудительного.

— Барин! Письмецо вам...

— От кого?.. Вот повезло на письма...

— А уж сами увидите...

Я подошел к окну и взял из руки горничной небрежно свернутый клочок бумаги. Торопливый некрасивый почерк:

«Через три дня я уезжаю. Сегодня — девятый день Вовочке. Не пойдешь ли ты со мной на могилку отслужить по нем панихиду? Одной суч-

но. Я уже пошла. Если хочешь, догонишь, я пойду тихо и посижу за околицей у мельницы. Калерия».

Я бросил Зоины письма в ящик, захватил шляпу и почти выбежал из беседки. Почему я так обрадовался и почему не иду обычным путем: мимо старого дома, в ворота, а лезу через забор сада? Там увидят галки тетки и поднимут в своем гнезде обычный галочий содом...

Вон она, черная и стройная, стоит, как маленькая изящная фигурка из черного мрамора, на горе под крыльями мельницы... Я покрутил в воздухе шляпой... Заметила, махнула красным шарфом и тихо пошла вперед... Почему вздрогнуло сердце, а на ногах словно выросли крылья? Вот уже два дня я не видал, Калерия, твоих странных печальных глаз, в которых грех борется со святостью... Почему иногда ночью, когда птица качнет под раскрытым окном моей беседки ветку сирени, я весь встряхиваюсь и долго смотрю в зеленые сумерки освещенной светом лампы листвы за окном? Не тебя ли жду я, Калерия, в своей одинокой беседке, обманутый птицей?.. Я думаю о далекой и вдруг с тайной надеждою начинаю ждать близкую...

— Калерия! Подожди же меня!..

Я задыхаюсь, торопясь на гору...

Обернулась, махнула красным шарфом и уходит... Скрылась за горою. Догнал...

— Как ты бежишь!

— Почему ты так тяжело дышишь?

— Я бежал в гору...

— Сядь на траву и отдохни. Вот здесь, на травке! А я буду собирать васильки для Вовочки...

Она пошла по меже, меж двух зеленых стен ржаного поля, и рвала цветы, то скрывалась, то вновь появлялась, черная, с красной чалмой из толкового шарфа на голове. Я лежал на траве, курил и ловил взором моменты, когда ярко вспыхивала красная голова Калерии над волнующимся зеленым морем.

— Идем, я отдохнул!

Она вышла на дорогу с васильками и пунцовыми гвоздиками; поравнявшись со мной, пошла рядом и на ходу плела венки. Ничего не говорила и не смотрела на меня.

— Дай, я понесу цветы, они тебе мешают.

— На!

Она протянула цветы и мельком взглянула мне в глаза тепло и ласково... слегка улыбнулась... Давно она не улыбалась; я успел забыть, как она улыбается. И теперь только я увидел, какая это удивительная сложная улыбка, озаряющая все лицо красивой печалью и властной гордостью прячущейся души. Я обрадовался и испугался этой мимолетной улыбки.

— Хочешь, пойдем под руку? — сказал я.

— Нет, я буду плести венки. Сегодня я в последний раз побываю в гостях у Вовочки. Может быть, никогда уже не приду...

— Почему?

— Послезавтра я уеду и никогда не вернусь к этим жестким людям. От них перестанешь любить жизнь...

Мы тихо, очень тихо шли и говорили о людях старого дома, и тут я понял, почему она не сразу порвала с ними.

— Отец умер рано — мне было два-три года. Мать, как и я, не любила маленьких детей. Не помню, чтобы она когда-нибудь ласкала меня. С девяти лет меня отдали в институт, в другой город, и когда я вернулась уже взрослой девушкой домой — я нашла вместо матери совершенно чужую женщину... Когда мне было лет семь-восемь, у нас гостила твоя мама. Она по целым дням возилась со мною: играла, гуляла, ласкала и рассказывала сказки про Бабу-ягу, про зверей и про Аленушку... Так с той поры и хранилось в моей душе воспоминание о доброй тете, которая меня крепко целовала в детстве. И теперь, когда я страстно захотела погреть душу теплотой и лаской близкого человека, я вспомнила про добрую тетю и, сломя голову, помчалась сюда...

Калерия смолкла и вздохнула.

— Да, ты ошиблась, — прошептал я, — тебе надо уехать...

— Тебе не будет жаль меня?

И опять поднялись на меня печальные глаза, и опять та же улыбка промелькнула на лице и заставила вздрогнуть мою душу...

— Будет жаль.

— Правда?

— Да, правда.

— Скажи мне правду: я перестала тебе не нравиться?

— Да. Ты...

— Ну! Почему ты замолчал?

— Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я люблю тебя...

— Нет, нет... Этого не надо, не надо... Не будем говорить об этом...

Я долго шел с опущенной головой и боялся смотреть на Калерию.

— Не грусти! О чем? Послезавтра я уеду, и ты быстро забудешь про нашу случайную встречу и про этот... разговор в поле... И будешь любить ту милую девушку, которая стоит у тебя на письменном столе... А я... я — случайный эпизод на твоём пути... Обо мне забудь. Да? Так?

— Нет, Калерия...

— Я, голубчик, скверная... Ты не должен меня любить...

— Нет, ты — хорошая... Я не сразу понял это... А теперь... Ах, зачем ты приехала сюда! Лучше бы нам не встречаться...

— Не будем пока говорить об этом. Я тебя очень прошу об этом.

И мы шли по тропинке около ржи, друг за другом, почти молча... Я — позади, с опущенной головой. Иногда я так близко настигал ее, что у меня перед глазами появлялся подол юбки и мелькали тонкие каблочки ее лакированных туфель. Тогда я задерживал шаг и поднимал с земли глаза; ярко ослеплял их красный шелковый шарф со спущенными за спину концами, и ветерок наносил на меня какой-то особенный аромат, тонкий и опьяняющий, который, казалось, шел, как и я, по следам этой странной женщины...

Когда батюшка облекся в старенькую ризу, и дьячок, раздув угли в кадиле, подал его священнику, а сам начал зажигать свечи, я незаметно вышел за ограду и, оставшись здесь, стал смотреть через решетку на Калерию... Кротким тенорком зывал и пел батюшка; иногда к нему подмешивался угрюмый голос дьячка; синеватый дымок крутился из кадила и, плавая в воздухе, таял в синеве утра. Калерия стояла недвижно, как черное изваяние над свежей могилкой и без слез, с упреком, смотрела на маленький холмик земли, скрывший Вовочку... Только один раз она посмотрела вокруг и снова застыла... Когда все кончилось и батюшка с дьячком ушли, Калерия села около холмика и стала наряжать его цветами; что-то шептала она губами, скорбно улыбалась земле; потом поцеловала ее и быстро пошла к воротам.

— Я думала, ты ушел от меня...

Оглянулась, вытерла слезки, несколько раз кивнула могилке головой и сказала:

— Теперь пойдем... Дай руку — я устала...

XII

Последний день! Последний день!..

Завтра тебя не будет.

Ах, если бы я раньше встретил тебя на пути своей жизни!.. Зачем ты поздно пришла и рано уходишь? Зачем я грубо оттолкнул тебя, когда ты шла навстречу, когда черные глаза твои, и черные волосы твои, и тонкие кисти рук твоих протягивались ко мне и просили отклика? Ах, я был слепой!.. Сердце смутно угадывало, что ты, только ты, а не другая, будешь владеть моей душой. Если бы знать! Когда ты, вот в такую же темную звездную ночь, вдруг, как сказочная греза, появилась за ок-

ном в лиственной чаще сирени, сколько ласки и призыва трепетало в твоих черных глазах! И когда ты сидела вот на этом диване и спрашивала, красива ли ты, — разве ты не звала любить тебя?.. Слепой, слепой...

Последний день!.. Нет, и день этот прошел уже... Тихо плывет ночь... Завтра ее не будет... У меня останется только портрет, который она обещала дать мне на память о нашей случайной встрече и коротеньком знакомстве...

Не могу спать в эту последнюю ночь. Тихая, сияющая, она полна звездных мерцаний, таинственных шепотов и осторожных вздохов земли, цветов и деревьев... Ах, беспокойные птицы за окном в сирени! — вы все пугаете мое сердце, обливая его горячей радостью надежды. Обманываете вы меня, птицы: не придет!.. Нет сил оставаться в одинокой беседке и прислушиваться к затаенным трепетам темной звездной ночи. Пойду в сад, буду до рассвета бродить в синем сумраке глубоких аллей...

Еще не спят в старом доме: как глаза огромного темного чудовища в лесу, горят в саду два окна желтым светом. Это ее окна. Там — Калерия... Если бы подойти и тихо постучать в окно, позвать ее в сад и сказать:

— Калерия, я люблю тебя и не могу жить без тебя... Что мне делать?

И ноги тянут меня к окну. Я только пройду по дорожке мимо окна... Там говорят... Ее голос. Почему он дрожит и так обрывается? Теперь говорит мама... А теперь — мама и тетка... Как мне стыдно и больно, что так неласково говорят с Калерией мои родные! Она уезжает, оставьте ее в покое!..

— Ради Бога, оставьте меня! — дрожит прекрасный голос...

Я быстро отхожу прочь. Лучше ничего не знать и не слышать... Пойдем, Джальма, в сад! Здесь так тихо и так хорошо думать о Калерии, о ее черных глазах, ее печальной улыбке, ее красивой голове, которой тяжело от огромного узла непослушных, сверкающих черным сиянием волос... Пойдем, Джальма, дальше, под старые липы, чтобы не было видно огней в старом доме... Что мы будем с тобой делать, Джальма, завтра, когда уедет Калерия? Эх, Джальма! Сколько раз она просилась с нами на охоту, и мы ей отказывали... Должно быть, раскрыли окна: даже сюда долетел пропитанный злобою, визгливый голос тетки...

Мы ушли в самый дальний угол сада, под горку, к заросшему бурьяном оврагу, и долго сидели здесь в глубоком молчании. Я смотрел на вздрагивающие звезды и укорял кого-то в вышине: «За-

чем Ты заставляешь любить и страдать? Зачем смеешься над нашей любовью?» Нет и не будет ответа... Плывет в загадочном молчании ночь над землей и пристально смотрит на землю дрожащими звездами... Эх, лучше бы ты не приезжала сюда, Калерия... Что мне делать? Что мне делать?

Я медленно побрел по аллее. Джальма побежала впереди, белым, сверкающим пятном мелькая в темноте меж деревьями... Приостановилась и заворчала... Испугала меня...

— Вперед!

Джальма побежала и пропала в темноте. Не лает Джальма: кто-нибудь свой... Не ускоряя шага, иду к беседке... Кто-то сидит на крыльчке. Джальма лежит на траве около. Должно быть, мама пришла опять «объясняться» со мной... Ах, как надоели эти ненужные «объяснения»! Они только еще более запутывают всех нас в обидах и непонимании друг друга...

— Ты, мама?

Не отвечает. Кажется, плачет... Боже мой, да это...

— Ты, Калерия? Плачешь?

— Я больше не пойду туда... Не могу! Я до утра посижу здесь, у тебя...

— Что случилось?..

— Все равно... Не спрашивай!.. Иди спать... Я буду здесь до утра. Когда взойдет солнце — поеду... Бог с ними!..

И опять, как в тот день, когда она просила меня похлопотать у батюшки за Вовочку, я положил на ее склоненную спину свою руку и прошептал:

— Бедная!

И мне было бесконечно жаль эту тихо плачущую женщину. Но теперь в чувство жалости властно врывалось и побеждало его новое.

— Милая, милая!.. Я люблю тебя, Калерия, и не могу жить без тебя...

— Погоди, не целуй!.. У меня мокрые щеки...

— Не стоит плакать, Калерия!.. Бедная, голубка моя... Я никому не дам тебя обидеть... Мне казалось, что ты сперва... Любила меня. Скажи: правда это или я ошибался, и этого никогда не было?..

— Погоди, Геня... Я скажу... все... Дай мне немного успокоиться... Так обидно, так обидно... Что я им сделала?..

— Пойдем ко мне... Посиди у меня в последний раз...

— Хорошо... Ты иди и зажги огонь... Я немного посижу здесь одна, и все пройдет... И тогда приду...

— Ты меня не обманешь?

— Какой ты смешной!.. Нет, не обману...

— Я тебе верю...

Словно в лихорадке, вбежал я в беседку и, наткаясь в темноте на мебель, с трудом отыскал спички и лампу. Потом я начал наскоро прибирать в комнате, на столе. На мгновение остановился перед портретом Зои: вместо прежней нежности к нему теперь шевельнулась неприязнь. Я шумно выдвинул ящик письменного стола и бросил туда портрет.

— Ну вот... видишь: не обманула. Хорошо у тебя, тихо...

— Какая ты красивая!..

— И ты разглядел?... А помнишь, тогда...

— Я был слеп, Калерия.

— И, может быть, это было лучше для нас обоих...

— Нет, нет...

— Оставь мои руки!..

— Они безумно красивы!..

— Сто раз слышала я эту фразу... Как мало в жизни нового! Сядем и давай говорить... О чем хочешь... Искренно... Не боясь слов... А где же портрет той милой девушки? Почему он исчез с твоего стола? — спросила вдруг Калерия и остановила на моем лице пристальный взгляд. Я опустил глаза.

— Это была ошибка... Я люблю тебя, только тебя, Калерия!..

Калерия вздохнула, укоризненно покачала головой и спросила:

— Теперь ты поставишь мой портрет?

— Да... Тот, который ты мне обещала...

— И настанет такой час, когда ты вот так же уберешь мой портрет и скажешь, что это была ошибка. И поставишь третий... Потом четвертый...

— Никогда, Калерия! Это — на всю жизнь... Клянусь тебе...

— Милый мальчик... Обманывайся и верь, пока не разучишься...

Калерия погладила мои волосы и уселась на диван. От этого прикосновения кровь бросилась к сердцу, к голове, к лицу, и радость полилась по всему телу... Я вдруг рванулся с места и, опустившись на колени около Калерии, разрыдался и, покрывая поцелуями ее ноги, стал в восторженном исступлении шептать о своей любви и страдании...

— Я не могу, пойми, что не могу тебя потерять... Ты мне дороже всех... дороже жизни!.. Без тебя мне не нужна жизнь... Ты не хочешь понять, Калерия... Если бы ты знала, как я несчастен... Лучше не жить...

Я опустил голову ей на колени и стал тихо всхлипать. А она ласкала мои волосы и ласково, с испугом и слезами в голосе, тихо говорила:



— Перестань... успокойся... Ты славный... Ты добрый и такой умница... Будь мужчиной!.. Я не люблю, когда плачут мужчины... Будь сильным и гордым, каким я тебя встретила...

— Ты не любишь меня... Нет, не любишь...

— Милый! Я не умею любить так, как ты хочешь... Только раз в жизни я жестоко обманулась в любви и теперь... не умею, мой чистый, честный, хороший!.. Ты мне нравишься... очень... может быть, я, ну, как тебе сказать...

— Правду, правду! — шептал я, не поднимая головы.

— Может быть, я могла бы тебя любить так, как я умею... Но тебе надо другое... Ведь тебе мало моих глаз, моих волос, рук, моих губ... А я больше не сумею дать тебе... Я... моя любовь как подснежник: быстро пропадает... Бери себе твою Маргариту... А я... я...

— Это была ошибка!.. Клянусь, только ошибка...

— А я красивая... но неверная... «Кармен»... Понял? Да?

— И все-таки я люблю тебя, только тебя... Какая бы ты ни была...

— Я пустая... гадкая... неумная... Ты присмотришься к моей красоте, и ничего у тебя не останется... Ты моложе меня...

Заворчала вдруг Джальма и уставилась на дверь... Мы стихли, но я не мог поднять головы с колен Калерии... Открылась дверь.

— Подлая тварь! Убирайся вон! Пощади мальчика!

— Мать! Уходи вон! Не смей ее оскорблять! — закричал я, поднявшись на ноги.

— Мерзкая, развратная...

— Молчи!

— Гадина! — задыхаясь, прохрипела мать и, выйдя за дверь, громко сказала:

— Я позову кучера, чтобы он вытащил тебя за волосы...

— Ах, вы вот как! Хорошо... Идите...

Я схватил со стены ружье и дрожащими руками стал вкладывать в него патроны.

Калерия захохотала, вскочила с дивана и, приблизившись, обвила руками мою шею сзади: крепко поцеловала в щеку и шепнула на ухо:

— Да, меня так еще не любили... На, целуй мерзкую, развратную гадину... В глаза, в губы! Во что хочешь... Ах, какой ты красивый!.. Скоро рассвет... Посмотри в окно: уже вздрагивает небо и потухают звезды... Целуй!..

Розовым полымем загоралось небо на востоке. Проснулись в саду птицы и, попискивая, стали покачивать под окном ветки сирени. Предутренней прохладой тянуло из окна. Было странно тихо, словно пробуждающийся день боялся еще уходящей ночи и осторожно крался по мягкой росистой траве и сыроватым земляным дорожкам, приглядываясь и прислушиваясь...

— Пора... Занимается утро.

— Милая, милая!.. Как ты красива!.. Не могу оторваться от твоих затуманенных глаз...

— Опять слезы!.. Ты уронил одну слезку мне на плечо... Горячо и щекотно... У, какой... бяка!.. Пора, пора... Сказка кончилась.

— Ты не поедешь... сегодня.

— Не могу, голубчик.

— Нет, нет... Не поедешь. Теперь ты... моя ты! Не отдам!.. Никому...

— Я, голубчик, не могу оставаться здесь ни одного дня... Ты это и сам понимаешь... Я подарила бы тебе еще несколько дней жизни... своей, а ты мне — своей, но... ведь это невозможно...

— Я хочу отдать тебе всю свою жизнь и душу отдать, а ты...

— Смешной... Мальчик... У меня нет души, чтобы обменяться с тобой... А жизнь... Нельзя

брать чужую жизнь, когда не знаешь часто, что делать со своей...

— Не любишь ты меня!..

— Как умею... Я тебе говорила... Бери, какая есть...

— Калерия, ради Бога прошу — останься еще!.. Я не могу расстаться с тобой... не могу... Ах, ты не понимаешь этого... не хочешь понять...

Я припал к ней на грудь и не хотел оторваться...

— Ты как... ребенок у матери... Я тебе говорю, что осталась бы еще, но где...

— Я поеду с тобой... Ты смеешься?

— Нет... Этого не могу... Нельзя.

— Ты кого-нибудь любишь?

— Меньше, чем тебя... Не делай мне больно.

— Я мог бы убить тебя, Калерия!..

— За что?

— Не знаю... не знаю...

— Негде... Негде спрятать наш грех... Ведь люди это называют грехом...

— Если бы ты... Нет, тебе это покажется смешным...

— Ну, говори!..

— Мне хочется быть с тобой... только с тобой... Я унес бы тебя на край света, на необитаемый остров, и не знаю — куда... Тебе смешно...

— Какой ты милый... Я смеюсь потому, что твои слова пробуждают во мне детскую радость... Я смеюсь от восторга... Говори же!

— В старом бору, на берегу озера, живет лесник. Старик. Он рыбак и охотник... Мы друзья... Ты смеешься?..

— Ах, капризник! Я слушаю, слушаю... И, кажется, немного понимаю... Ты хочешь, чтобы там, в лесу, был наш «Край света»? Да?

— Да. Там есть домик. Старик живет летом в землянке, а мы... Ты не захочешь...

— Хочу! Это мне страшно нравится... Почему ты не веришь?.. Тише, тише, ты задушишь меня... Ну, пусть же!..

Взошло солнце.

Яркая полоса золотисто-розового света ударила вдруг в окно и вместе с улыбкой заиграла на смуглом лице Калерии...

Где-то далеко играл на свирели деревенский пастух. Калерия прислушалась.

— Как хорошо... Можно снова поверить в счастье...

Обернулась, ласково посмотрела мне в глаза:

— Помнишь, в «Евгении Онегине»?

И, грустно, качая головой, потихоньку пропела: «Пастух играет... А я-то, я-то...»

Ярко-зеленый, с белыми, красными, желтыми и голубыми цветочками, лужок. Кругом — старые сосны. Только с одной стороны — голубой про-свет: там, под горой — круглое притаившееся озеро, как огромное овальное зеркало в рамке из камышей и кустов: в неподвижных глубинах его — голубое небо с повисшими в нем белоснежными облачками. С горы — бесконечный синеватый туман далеких лесов... Молодые елки и сосенки, выбежав из старого хмурого бора, словно малые дети, побежали под гору и, рассыпавшись по склону до самого озера, остановились в изумле-нии пред ярким светом и далеким горизонтом... На краю бора, под соснами, стоит и смотрит дву-мя окошечками на озеро новая смолистая избуш-ка лесника, а пониже, на спуске — зеленый холм, с темной обросшей плесенью дверкой и крошеч-ным окошечком. Это — землянка, первоначаль-ное жилище старика, где он скрывался и зимой, и летом, пока не выстроил, наконец, избушки. Бе-режет он ее... Для кого? Бог его знает. А может быть, просто привык к своей землянке и жалеет бросить ее. В землянке — все немудреное его хозяйство; там пахнет овчиной, дымом, печеным хлебом и кислым квасом, а в избушке — все но-венькое: золотятся свежеструганой сосной стены, лавки, косяки, скамейки, божница, а на полу — половичок из золотой соломы; печка выбелена, жерло ее прикрыто пестрядиной занавесочкой... На полке — самоварчик и тоже точно сейчас из лавки: блестит, словно золотой. Сизый глиняный рукомойник на веревочке. Крылечко с перильца-ми — на лужок. Нет двора, нет забора, загород-ки... Зачем? Все — Божие и все — твое... И небе-са, и сосны, и вода в озере, и лужок с цветочками, и грибы, и ягоды, и дикая птица, укрывающаяся в лесных трущобах...

Благодарной примиренностью и безмятежным покоем наполняется душа от уединенной близости к земле и к небу. Чисто так и ясно и в голове, и в сердце, и все думаешь: зачем люди хоронят себя и свои души в каменных мешках, ограждаются стенами, решетками, запорами, занавешиваются от солнца и друг от друга и всю жизнь боятся жиз-ни и портят ее себе и другим?..

Как удивительно приятно, мелодично позвани-вают здесь колокольчики; пара лошадок, поматы-вая мордами, стоит под соснами и оглядывается: что там замешкался ямщик, привезший нас с Ка-лерией?

— Тпру, милые лошадки! Ваш ямщик пошел ис-купаться в озере...

Глубокою благодарностью чувствовал я и к ло-шадкам, и к тарантасу, в котором мы приехали, и к желтому чемодану и к картонкам Калерии.

— Ба! Джальма! И ты здесь? Ведь я тебе не по-зволил!..

Джальма припала к земле и виновато смотрит на меня умными глазами.

— Ну, ладно уж, прощаю... Ах ты, шатущая! Пронюхала-таки...

Ружье и гитара. Гитару захотела Калерия.

— Геня! Как здесь дивно хорошо! — кричит с крылечка Калерия. — Что-то напевает и бежит по-мочь.

— Я сам, сам...

Оглянулась, схватила за шею, поцеловала крепко-крепко и, откинув голову, побежала в бор. Там она пела, и голос ее уносился под гору к си-зым туманам далеких лесов:

«Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с све-чами...»

Вернулся ямщик. Это — тот же самый мужик, который вез меня домой.

— Разгуляться приехал?..

— Да.

— Эхе-хе... дела, дела! Голосистая... На весь лес беспорядку наделала...

— Никому не говори, что я здесь...

— А что мне... Говорить-то?! Не махонький... Сам понимаешь...

— Матери не говори, что оба здесь слезли...

— Понимаю... Ну, надо ехать... Хороша бабе-ночка... Прощай! В среду приеду...

— Рано в среду... Приезжай в пятницу или в субботу...

— Она наказала в среду... к вечеру. Она, брат, не похвалит за это...

Зазвенели колокольчики и рассыпались по лесу словно засмеялись... Куковала где-то кукушка, и все дальше смеялись колокольчики. Кружились над цветами бабочки. Трещали в траве кузнечики. Тихо, как далекое море, шумел старый бор вер-шинами, а внизу, под горой, пела моя Калерия... Неизъяснимая благодать ворвалась в душу, и, упав на траву, я стал смеяться и целовать землю...

— Господи, благодарю Тебя... Как я счастлив... как бесконечно счастлив!.. Джальма, ты не пони-маешь, отчего эти слезы... Ты лижешь мне руку, думая, что я несчастлив? Дурочка! Я теперь самый счастливый человек на всем свете!..

— Женился, что ли?

— А-а, дедушка! Откуда ты взялся?..

Я отвернулся и отер слезы счастья.

— Я из-под земли... Пришел узнать, не нала-дить ли вам самоварчик... Сижу в своей норе, как

крот, чуслыхал — поет твоя-то, и вспомнил: не надо ли чего...

— Хорошую избу ты поставил.

— Ничего... Всю жизнь копил на нее: недоедал, недопивал. Сам-то не наживу, а внучке пойдет. Мне и землянка хороша, перед могилой-то.

— Хорошо здесь!

— Плохо ли! Благодать Божия... Карасиков не сварить ли? Живые, только сегодня пымал... молодуху-то покормить надо. Вишь, как она разливаается... Эх, молодое-то дело!.. Все с песней: и горе, и радость... Когда женился?

— Недавно.

— То-то не слыхать было... Господа больше под старость женятся, а вот ты по-нашему... Да ведь пока молод — только и погулять с красивенькой бабочкой, а там «бери — не надо»...

— Не стесним мы тебя — в избе-то поживем?

— Что ты! Живите!.. От вас только радость одна в избе останется... Давно я тебя не видал... Отколь взля жену-то?

— В городе... Нравится?

— Не вредная... Для вас ведь не бабу, а пичужку нужно: не в работу, не в заботу, а чтобы пожарче приглубить да песенку спеть... За охотой-то ходишь аль бросил? Не до охоты, поди, с молодой бабочкой-то?

— Нет, не бросил, и ружье привез.

— То-то! На озере выводки есть, летные уж. Как заря — все на родину слетаются. А собачка все та же у тебя.

— Та же. Джальма.

Джальма подняла голову и вопросительно посмотрела сперва на меня, потом на старика, хлопнула по земле хвостом.

— Спать-то вам будет неладно, пойду травки накошу. Что твоя пуховая постелька... У меня в избе чисто: ни блохи, ни таракана, ни какой этой погани... Где у меня коса-то... Покричи меня, коли что. Я недалечко буду. Вон там, под горкой, околь озера...

— Ладно. Спасибо, старик!

Ушел. Добрый старик, с синеватыми, уже выцветшими глазами. Всех любит, весь мир. Приручил зайца: с ним в землянке живет вместе с ежом: «нас трое» — говорит — «я, еж да заяц».

Где же Калерия?.. Не могу без нее так долго...

— Калерия!

— А-у!

Зачем ты, голубка, уходишь так далеко?.. Заблудишься в темном бору. Беспokoится за тебя сердце. Иду в ту сторону, где прозвучала валторна. Выхожу на круглую лесную полянку, пеструю от цветов, звонкую от гудящих насекомых...

Здесь! Как огромный красный мак — голова в красном знакомом шарфе... Присела, ползает по траве.

— Ты?.. Здесь много земляники: давай рот!

— Я найду...

— Я нарвала для тебя. Иди же!

Села в траву, улыбается и манит глазами. Ах, эти глаза! Они и ласкают, и мучают; нет сил и нет слов, чтобы передать, как они прекрасны. Смотришь и тонешь в их притягивающей глубине, и горишь в их истомной ласке.

— Ну, будет смотреть. Иди ближе! Слово в первый раз увидал меня...

— Да, Калерия, в первый раз, всегда в первый раз...

— Приглядишься...

— Никогда!

Опускаюсь около и кладу голову на ее колени.

— Все смотришь в небо... Ешь!

— Нет, я смотрю на тебя... В тебе — небо, и черные звезды — глаза твои...

— Я — земля, а не небо. Понял?..

Наклоняется и целует в губы долгим поцелуем...

И оба закрываем глаза.

— Земляника!.. Рассыпал ты всю землянику... Подбирай же!

— Хорошо... Милая, как ты прекрасна...

— Тсс!

— Это — птичка...

— Тише, ты мнешь землянику...

— Глаза, мои глаза... мои губы...

Тихо шумит старый бор вершинами и звенит лесная поляна от радостного славословия жизни птицами, насекомыми, мириадами крохотной твари... И плывет тихий ликующий день над нашими головами...

XIV

Весь день бродили по лесу, нашли много белых грибов и земляники; Джальма спугнула тетеревиный выводок, истерически визжала, гоняясь за зайцем. Нехорошо, если собака зря гоняет зайцев, да уж Бог с ней, пусть порезвится... Забрались в такую чащу, что долго не могли выбраться: крутой овраг весь зарос кустами орешника, крапивой, шиповником, цепким хмелем; внизу, по оврагу, бежит прячущийся в зелени ручей, словно булькают бубенчики. Калерия жадно бросилась к ручью и страшно перепугалась: огромная глухарка с сердитым клохтаньем забила вдруг крыльями и вырвалась почти из-под ног Калерии. Она завизжала и бросилась ко мне:

— Кто это?... Какая страшная птица!.. Как дико она кричит! Зачем ты не взял ружья?..

— Нельзя теперь убивать.

— Почему?

— У нее дети... маленькие еще...

— А-а!.. А зайцев можно?

— Нет, тоже — дети...

— У всех дети... Значит, мы не будем охотиться?

— На уток можно: у них дети летные...

— А-а-а!.. А ты... ты — летный?

Калерия засмеялась...

— Летный!

— Значит, на тебя можно охотиться?..

И снова тихий лесной овраг огласился звонким смехом Калерии и кого-то напугал в чаще: вдали захлопали крылья улетающих птиц... Отыскали местечко, где поглубже и пошире ручей, где он бежит в песчаных бережках. Напились и умылись прохладной водицей. Калерия брызнула мне в лицо пригоршню воды... Шалит как ребенок... Сбросила туфли, стащила чулки и, приподняв платье до колен, стала бродить по ручью. Стройные тонкие ноги заигрывали с водой и камешками, и в этом было столько милой беспечной и бессознательной грации, что хотелось побежать, схватить этого взрослого ребенка на руки и вынести из воды...

— Что ты! Уронишь!..

— Нет.

— Какой ты силач, однако... Принеси мои чулки и туфли... Вон они, под кустиком...

Принес, поцеловал чулок:

— На!

— Посмотри: красивые у меня ноги...

Только к вечеру выбрались на знакомый лужок, где нашли давеча много земляники. Теперь уж не заплутаемся... Вот и примятая трава, где мы сидели. Солнце уже садится: по лужку — длинные тени сосен, позади. в оставленной чаще, уже ползает мрак, а впереди, где бор редееет, голубой просвет и толстые стволы старых сосен кажутся золотыми...

— Ой, устала!.. Пить хочу, есть хочу, лечь хочу... Возьми грибы: надоели...

— А где же Джальма? Джальма! Джальма!.. Скрылась...

— Ох, скоро ли наш «Край света»!..

— Возьми мою руку!..

— Нет, не надо: хочется махать руками...

— Вон наша избушка золотится новенькой крышей...

— Будто мы — братец Иванушка и сестрица Аленушка, а там — избушка Бабы-яги. Ой, братец

Иванушка, пить хочу, есть хочу, поваляться хочу... понежиться на постельке...

Ах, как хорошо у нас в избушке! Славный дедушка. Как он заботится о нас: на столе — горячий светлый самовар, полкаравая черного хлеба, кувшин устоявшегося молока... Откуда молоко? — у него нет коровы. Неужели успел сходить в деревню за пять верст отсюда?.. Чистая набойная скатерка; новенькие деревянные ложки, желтые блестящие от лака, берестовый тес с сотовым медом... А весь угол за печью завален только что скошенной травой... Милый дедушка!

— Ой, как хорошо! — крикнула Калерия и с размаха упала в пышную грудку травы и раскинула руки. Распустилась прическа, и две толстых черных змеи поползли около ее плеча. Прикрыла лицо кистью руки и сказала ленивым голосом:

— Похозяйничай, голубчик, а я чуть-чуть подремлю...

— Подремли, голубка...

Осторожно на цыпочках ходил я по избе и готовил чай. Злобно погрозил прибежавшей Джальме, боялся стукнуть посудой, сдерживал дыхание. Изредка бросал взор на траву: мерно поднималась высокая, свободная от обычного панциря грудь, и чуть слышалось ровное спокойное дыхание... Голубка, она уже уснула... Положить бы ей под голову подушку — боюсь, — разбудишь... Боже мой, как я люблю эту спящую женщину!.. Тише, не гуди так громко, шмель, на окошке! Улетай скорей на волю, скажи там всей твари: «Заснула наша Царица!..»

— Тише, дедушка, не стучи...

— А-а, заснула твоя пичужка... Нагулялась, натрудила ноженьки... У меня уха из карасей поспела... Поели бы, да тогда уж и полегли бы!..

— Это кто пришел, Геня?..

— Эх, дедушка, разбудил!..

— Рано легла, молодуха. Во что ночь-то спать будешь? Чай, поесть хочешь?

— Очень!

— Ну, вот видишь... Скажи спасибо, что напомнил, а то так бы не емши и улеглась. А ночью забеспокоилась бы... Вставай: сейчас уху приволоку, а ты хлеба нарежь, справь свое бабье дело. Самовар подогрела бы... Привыкать тебе надо.

Дедушка вышел, я бросился на траву, сжал Калерию в объятиях и стал целовать.

— Вставай! вставай! вставай! вот тебе!..

— Я пойду к озеру... искупаюсь и буду снова бодрой...

— Утонешь...

— Не беда, если это и случится...

— Одну не пущу.

— Скажите, пожалуйста! Однако ты быстро приходишь в роль... дрожащего супруга...

Звонко смеется, бросает на плечо простыню и уходит... Умеет свистеть по-мужски.

— Джальма, пойдём купаться!

Ушла. Боюсь... А вдруг утонет? Не успеешь спасти: далеко. Не знает места. Запутается в водорослях... И не услышишь... Тихо иду под гору, пробираясь кустиками, поближе к озеру. Прилеп к кругу из елок, слушаю... напевает что-то, разговаривает с Джальмой, с лягушкой... Стихла, а потом — звонкий визг и шумный всплеск воды: бросилась прямо в озеро и поплыла...

— Не плавай далеко! Утонешь! — кричу, полный страха и беспокойства.

— Как хорошо! Где ты? Иди купаться...

Кровь бросается в щеки. Почему мне стыдно?..

— Иди! Я уже одеваюсь...

Опять поет. Иду навстречу. Бежит мокрая Джальма, встряхивается: она тоже купалась. А вот и Калерия... И опять другая, новая какая-то: на голове — белый платок повязан, как повойник у молодых крестьянок. Еще глубже и чернее сделались от него глаза и резче обрисовались на капризно-приподнятой губе черные усики, а лицо — бронзовое, как у египтянина. В белой кружевной кофточке, под которой вздрагивает при каждом шаге грудь... Какая-то высокая стала, словно выросла. На плече свернутая простыня, в руке — белые с желтым кружочком в середине водяные лилии на длинных стеблях...

— Вот теперь давай руку... Жаль, что ты не искупался... Я немножко озябла...

Она прижалась к моей руке и задрожала.

— Ребятиш-ки-и-и! Уха простынет!

— Дедушка кричит. Идем скорее... Бегом!

Никогда уже больше в жизни я не ел такой удивительной ухи. Мы сидели друг против друга и с жадностью поглощали уху полными новенькими деревянными ложками. А потом принялись за жирных озерных карасей. Переглядывались, улыбались, начинали беспричинно смеяться. А дедушка стоял у притоки, с удовольствием смотрел на нас, причмокивал губами и приговаривал:

— Он, карась-то, вкусный живет... Кушайте на доброе здоровье!.. Не жалко. А самоварчик я сызнова наладил... Горяченький... Подушечки-то захватили?.. Вот это умненько... Мы ведь на своем кулаке спим... А из гнилого угла тучки набегают: не было бы дождя ночью-то. Не пойдешь на зорю-то уток покарать?.. Село никак солнышко-то...

— Сегодня что-то не хочется...

— Эх, ты!.. Обабился, брат... Дай-ка мне ружьецо-то: я от скуки посижу. Убью, так вам же на жареху завтра пойдет... Сейчас стайка пролетела...

— Калерия! Хочешь — пойдём, посидим... Ты ведь просилась как-то...

— Иди, голубчик, а я что-то устала...

— Это от чистого воздуха, бабынька милая... С лесного воздуха... Наглоталась его, тебя и морит, размлела... Вишь, как у тебя щеки-то разгорелись, словно зарево ночью...

— Одному не хочется.

— Уж какая с ней охота!.. С ей вон на траве поваляться...

Отдал дедушке свое ружье. Ушел он.

— Счастливо вам!

— Спасибо, спасибо, дедушка!..

Напились чаю, молча посидели на крыльчике, прижавшись друг к другу. Почернел старый бор, нахмурился, сильнее заворчал вершинами. Стала чутко настораживаться в темноту леса Джальма, тревожно втягивать носом воздух, поварчивать. Посинели небеса над бором, замигали звездочки. Притихли птицы. Только кузнечики не переставали трещать в траве, да где-то на озере глухо стонала выпь. И не хотелось двигаться с места, не хотелось снять головы с теплых колен любимой женщины, когда она, погладив меня по волосам, сказала:

— Пусти, я хочу лечь...

Ах, как хорошо у нас в избушке! Пахнет сосной, травами, медом...

— Не будем зажигать огня...

— Ой, как я устала! Ну, я — бай-бай...

Какая мягкая, душистая трава! И ты, Калерия, пахнешь тоже цветами, травами, озером, сосной, а твои волнистые волосы опьяняют меня непонятным ароматом.

— Дай я обовью их вокруг своей шеи и задушусь ими... Как сверкают в синем сумраке твои глаза... Мои черные огни, в которых горит, как свеча под ветром, моя душа...

Шумит за окном старый бор, баюкает и ласкает... Тихо-тихо в избушке... Уснула моя голубка... А я не могу... Нет, не могу... Я склонился над ней и не могу оторваться от прикрытых темными ресницами глаз, от полураскрытых губ, за которыми прячутся белые мелкие зубы, от этих странных усиков, от мерно вздымающейся груди... Не могу... Я тихо-тихо, так что ты не услышишь, целую тебя, едва коснувшись губами твоей смуглой щеки...

Ах, как пахнет цветами, травами, медом и твоими волосами, Калерия!

Продолжение следует.